

**А.Г. Малышкин**

# **Люди из захолустья**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
А11

**А.Г. Малышкин**  
А11 Люди из захолустья / А.Г. Малышкин – М.: Книга по Требованию, 2021. –  
230 с.

**ISBN 978-5-4241-1713-8**

Действие романа Александра Малышкина, впервые опубликованного в 1937 году, разворачивается в промежуток, времени между осенью 1929 и весной 1930 годов. Перед читателем предстанут многие характерные черты эпохи, помыслы, чаяния людей, небывалый подъем созидательной энергии; главная тема - наступление на прежнее "захолустье", на многовековую технико-экономическую отсталость страны.

**ISBN 978-5-4241-1713-8**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© А.Г. Малышкин, 2021

Мальшкин Ал  
Люди из захолустья



АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

Люди из захолустья

(1937-1938 гг.)

РАЗЛУКА

Прости-прощай, Мшанск!

Мимо всегдашней росстани, мимо старинного кирпичного флигеля (где за железными створнями зарезали когда-то бакалейщика с большими деньгами) сани свернули в гумна, в сугробную ночь. Во флигеле жгли поздний огонь, наверно, играли свадьбу; прохожий народ валился к окнам, глазел на тошное веселье. На задах, по берегу Мши, погибали в метелице окраинные бани и ветлы.

В розвальнях сидели двое. У крайнего омета оторвался от темноты еще один человек, выбрел им навстречу. Был он сугорбый от котомки за спиной, опасно озирался.

- Петяша? - негромко и уважительно окликнул извозчик. - Это мы, мы... Садись, замерз ждамши-то!..

Седок с готовностью подался в саних, подвигая для нового ворох соломы погуще.

- Эх, Петра, по правилам бы винца сейчас по хорошему стакану да на гармоньи расстанную...

Но осекся: человек, завалившись в сани, тотчас схватил себя обеими руками за малахай и задергался непереносно, навзрыд. И седок не выдержал, тоже длинно вздохнул.

Извозчик сокрушенно сказал:

- Это всамделе тоже каково? Из собственного из своего угла да еще ночком, потихоньку, чисто ты вор какой!..

И с яростью огрел лошадь по хребту.

Скоком прошли мимо заколоченных магазеев, выбросились за порубежный овражек, в котором с восемнадцатого года закопаны расстрелянные за контрреволюцию - два офицера и четыре торговца. От овражка начинался тракт на полустанок и дальше, на Пензу; обступали снеговые пади, обступала волчья глубь, дорожное забытье. Искорчато-сине сверкала метелица, и сразу начало мерещиться за ней большое, ужасающее человеческое скопище, все в огнях. Налетала дикая сила ветра, шумя в ушах; на обочинах ныли по-нищему телеграфные столбы. Эх, бывало и гикнет же тут ямщик!.. Стало пробирать холодом, требовалось завалиться спиной к ветру. Петр, просморкавшись, немножко оживел, полез в нутряной карман за махоркой.

- Ну, ничего... - сказал, будто посулил кому.

- А брательник-то все в Москве? - чтобы приутешить, спросил извозчик.

- В Москве...

- Маленьки были, какую бывало мы с ним дружбу колотили! Сейчас, чай, все позабыл.

- Он сейчас в Москве высоко, - ввязался другой седок, - он с самим Калининым работает, по газете.

- А вот чего же за брата не вступится, не расскажет, как брата здесь мытарят? Ему бы только одно слово...

В саних угрюмо молчало, и извозчик из сочувствия тоже посердилел.

- Нынче, видать, братья своей крови не признают.

Петра едко продувало сквозь заплатанный пиджачишко. Хорошо, что хоть сосед сбоку пригревал немного (то был двоюродный брат, гробовщик Иван Журкин). Левый глаз наскла пурга, он совсем смерз от слезы, закрылся. А правый видел только беспощадное мерцанье метели да понизу дикие, текучие гребни снега, - только это одно и оставалось сейчас в жизни. И начинала заплетаться под ветер всякая паутина - дремь не дремь, сон не сон, а так, дорожная дурнота. К ней привычен был Петр - двадцать лет ездил по этой дороге. И вот - нет уж беды над головой, знакомые пригорки и пбди одеты в тепло и в зеленый овес, и благополучный стародавний закат над ними, и едут с поезда седоки в плетеных таратайках, тянутся возы с товаром, а в Мшанске барышни идут ко всенощной, а бабка затевает к утру пироги с мясом. Эх, гикали же тогда ямщики, взвивались бубенчики!.. У Вязового оврага и вправду вымахнуло сзади колокольцем, и кто-то гаркнул, нагоняя. Петр ссутулился, глубже улез головой в передок.

- Кого это, Васяня? Посмотри: не собашника ли нашего несет? - сказал извозчику.

Прогнало недурум, прямо по сугробам, пару лошадей со звоном. Разве распознаешь, кто там за непогодью уютился в угол возка, обернув кругом себя тулуп трубкой?

Петру стало совестно за свое малодушие.

- Я говорю, Васяня, хоть бы кого порядочного, а то мальчишку нахального поставили к власти, собашника!

Гробовщик, которого одолевала тоскливая дума, заворошился.

- У них и в пословице так сказано: кто был ничем, тот, слышь, станет всем.

- А что пословица! - негодовал сзади из пурги извозчик. Он потрусил было в гору пешком, но увяз и на брюхе карабкался опять в сани. - Вот приходит ко мне вчерась Кузьма Федорыч, бедняк, "Позволь, - говорит, - с тебя семь с полтиной". - "За что?" - "За лишение голоса". Это как же? Значит, известно, что я погорел, одну узду из пожара вынес; шеметнулся я тогда в избу, в огонь, как полоумный, ищу, чем бы мне лошадь вывести, узду и ухватил, а лошадь-то уж выведена была. Значит, надо мне построиться. Стал я овец покупать и на базаре продавать, с рукой-то не пойдешь: теперь погорельцу хрен подадут. Ну, на избу, кое-как сколотил, на овцах-то, а теперь они за это то приостановят, то опять лишат, то опять приостановят, давай, говорят, в колхоз записывайся!

- Да, да, - болел за него гробовщик (он про Васяню и темное кое-что знал, кроме овец), поддакивал, чтоб свое заглушить, незаглушимое, от которого в горле ело слезой.

Петр заворочался, закидался в санях чуть не со скрежетом.

- Эх, выпить, что ль!.. Ай погодить?

Не понимали люди, что мучают его разговором и что слова их кружат, как воронье. Сызнова представлялось от этих слов разоренье: мшанский базар, бесхозяйный, запорошенный по снегу соломой и лошадиным дерьмом, оголенный насквозь - до самого собора, после того как снесли последние ларьки. По площади только собаки нюхаются да парни и девки с курсов - будто не свои, не деревенские, на беду нарощенные парни и девки озоруют около тракторов...

Пробовал, натянув покрепче малахаишко, пальцем насильно придавливать глаза, - нет, никак не засыпалось. Часа два волоклись по сыпучему сугробному

морю. Извозчик выпрашивал гробовщика:

- Значит, ты, Лексев, говоришь - хороших делов искать поехал?

- Да уж больно мы тут набедовались, Васяня. Чтобы гроб кто заказал, я и забыл, когда это было. Теперь каждый себе самодельный норовит. По столярному делу когда-когда рамы сколотить позовут. Да кто теперь строится-то? Засев был у нас, опять же теперь в колхоз отбирают. А у меня их шесть ртов да мы с женой: по куску - так восемь кусков подай, по два - шестнадцать...

- Начетисто! - соглашался Васяня. - А никак ты и гармонью прихватил?

- Да, на всякую крайность, не знай, как еще на чужой стороне бедовать придется.

- Теперь большие тыщи народу на стройку тянут. Позавчерась тоже четверых из Блудовки отвез. Рассказывают, шибко заработать можно, однако не знай...

И опять просветило Журкину за метелью некое становище: горят бездомные костры, люди ворочают что-то постылое, приплясывая от стужи.

- А тебе, Петяша, вот что скажу, - обернуся извозчик: - ты, Петяша, выходку смелее сделай! Ты головы не прячь. С выходкой у тебя без всяких подозрений будет. Документ-то есть какой?

- У него пачпорт старый, не испачканный еще, - сказал гробовщик.

Петр обидчиво поднялся, сел.

- Я-то сумею, не беспокойся, мы народ - Волга. Там-то... людей - как песку, попробуй достань меня! Мне вот только с полустанка сняться благополучно. Я говорю, можбыть, в обход с Симанщины забрести надо было?

- Ничего, и тут посадим. Выходку только смелее делай!

К полуночи на положенном месте качнулся огонек, прочернел вязами станционный палисадник. Вот и товарный состав невидимо пробежал, подсвистнув ободряюще, рокоча колесами, - в степь, в путевые будни, в разлитое светом гулянье больших городов. А степь, когда заехали под деревья, забушевала сзади еще пуще, еще ненавистнее, не на что было оглянуться в последний раз... Петр из опаски остался вместе с извозчиком в станционном дворе, а Журкин побежал в очередь за билетами. Билеты надо было доставать дальние на Урал.

Одного больше всего боялся Журкин, так и вышло: знающие люди сказали, что на "максиме" местов будет мало. А "максим" ходил один раз в сутки. Двери в полутемном зале хлобыстались со стекольным дребезгом, гуляли сквозняки, разлучная тоска. Въедливо лез в глаза глянецовито-разноцветный плакат, повешенный как раз возле лампы. Хоть куда больше не гляди. А тут еще какая-то дура баба в необъятном тулупе стала перевертывать около Журкина, на холоду, на буфете грудного ребенка, и ребенок пищал и закатывался, как его младшая - Санька... И народ в очереди подобрался Журкину не по плечу: все больше деловой, районный, в обтяжку одетый в короткие полушубки и малахайчики; такие для себя билет хоть у кого из глотки вырвут! А на Журкине, как изба, стояло ватное, на солидность сшитое когда-то пальто, даже с вихорками бывшего каракуля на воротнике; под пальто жалостливая баба накрутила ему еще пуховый платок, а на ногах, обутых в трое чулок, коробились валенки выше колен, добротнo подшитые по низам кожей: всю окопировку сделали из последней копейки. И явственно путлялись в этом барахле слезные провода, ребячье вытье, осиротевшие верстаки. Колокол ударил: поезд выходил, вышел уже - чугунный, метельный, неостановимый, как смерть... Гробовщик глянул опять на плакат, на эту

красивую, веселого вида пассажирку, которая облокотилась на автомобиль, в играющей по ветру вуалетке, на белые дворцы за ней, на синее, как жар-птица, море. И страшно ему стало, что есть где-нибудь на свете такая легкая жизнь.

Петра от колокола тоже залихорадило. Он вынул посудину из котомки, стукнул ладонью по доньшуку, отглотнул и передал остатки извозчику.

- Ну, Васяня, двигаем...

Сторонкой, мимо отхожих, потащили поклажу на платформу. У отхожих пришлось переждать, потому что над линией, над всей снеговой открытостью ее у вокзала, горели фонари и было очень ясно. Ветер отстал за кустами и за строениями, только метелица сеяла мелкой пылью, но у Петра тряско постукивали зубы... Опять ударил колокол. Вокзальные двери захлопали, выбегали пассажиры. Журкин все не показывался. Вот уже "максим" кинулся огнями из темноты, за водокачкой. Вот свистнуло, и паровоз, оглушительно повалился на народ, как кузница с адским пламенем, за ним галдели и галдели товарные без конца, потом подошел четвертый класс и вдруг остановился темным тыном. И сейчас же ринулось на вагоны скопище со страшными сундуками. Журкин пробивался, расстегнутый, потный, в сбитой назад шапке; он отчаянно махал стиснутыми в кулаке деньгами.

- Слышь-ка, Петра, пропали: нету билетов-то!..

Петр злобно моргал ему, пихал к вагону.

- Не ори ты, чу... и так доедем. Ты посадку-то, посадку не прохлопай!..

- Да ведь заберут за это, - простонал гробовщик.

А сам, без памяти продираясь впереди всех, ловил ногой ступеньку. Впереди как раз затерлась баба в необъятном тулупе, с ребенком в одной руке, с непосильным мешком в другой, затерлась так неудобно, что ни сама не пролезала, ни задних не пропускала никого. У гробовщика чуть-чуть взвырало даже: "Может, все останемся через нее, дуру". Но Васяня ухитрился, отшиб бабу плечом от вагона. Петр ястребом первый влетел на площадку, яростно выдергивая из народа котомку и сундучки свои. "Кончено". За ним подняло и Журкина. Последней оглядкой успел ухватить сугробную крышу какую-то, палисадничные вязы, за которыми недалеко совсем - всего двадцать километров! - сокрылась родная уездная глухота... Хотел на прощанье крикнуть что-то Васяне, но тот, уже для забавы, продолжал спиной отшибать бабу от вагона. Баба вопила и била его локтем, а Васяня орал:

- Ах, и народ, ну и зверь-народ!..

В тусклой банной духоте вагона сверху донизу торчали ноги, свисали одурелые от сна головы, взывали тяжелые храпы.

- Налаживай, где потемнее, - суровым полусшепотом подгонял Петр.

И по голосу чуялось - другой подымался, настоящий Петр... Он тут же, как бывалый, нырнул на пол между лавок; пооглядевшись, пнул какого-то тощенького паренька, который спал сидя, широко раскидав ноги в лаптах.

- Подбери двигалы-то, не в гостях, едрена, развалился...

Паренек спросонок испуганно поджался, а Петр приспособился боком на котомке.

- Лезь, тут места много! - позвал он Журкина.

Колокол рыднул за мерзлым окном.

В МОСКВЕ

Соустин, он же Николай Раздол, сотрудник "Производственной газеты", взбегал по редакционной лестнице. Он спешил потому, что надвинулся канун праздника, суматошный и ответственный день, а еще потому, что любил в эти утренние часы, до прихода заведующего Калабуха, поодиночествовать в пустом отделе около телефона. Конечно, после того, что произошло в Крыму, он не должен, не должен был звонить, и Соустин напрягался - не звонил три месяца, но телефон манил, как легкая, незапертая дверь туда. И сама Ольга, с ее судорожным характером, могла в любое утро появиться в редакционной комнате...

В отделе его ждал сегодняшней номер "Производственной газеты", еще клейкий, пахнувший скипидаром. Как и всегда, пальцы открыли прежде всего вторую полосу, важнейшую в газете полосу "Промышленного отдела", которую именно он, Соустин, делал с начала до конца.

По верху ее тянулся лозунг из огромных букв: "За новые социалистические методы труда!" Это новшество, вводимое усердно товарищем Зыбиным, замещающим временно ответственного секретаря, подбор материала "букетом" (пять-шесть статей на одну тему), казалось Соустину малоудачным, обедняющим газету. (Вероятно, так думал и завотделом Калабух, он - умница.) Речь шла о начинании рабочих "Динамо", о котором пресса шумела по всей стране, о вызовах на соревнование в работе, о каких-то разламывающих налаженный ход вещей рабочих бригадах...

В заголовках чувствовалась та же иссушающая рука Зыбина: они теряли свой перец, свою игру, незаметным образом искоренялась из них всяческая хлесткая завлекательность, какой славились особенно заголовки Соустина; последний умел тут щегольнуть, любую - даже канцелярски-скучную материю преподнести под распалюющим воображение соусом! Взять хотя бы такие: "Пицца гигантов" (об утильсырье), "История башмаков товарища Сеницына", "Разбой на Трехгорке" (о путанице с переадресованием грузов), "О чем мечтали трубы", "Баллада рабочего дворца" и т. п. А при Зыбине пошли вместо заголовков огромные шапки (Зыбин в основном заведовал партотделом), иногда строчки в две-три, похожие скорее на выдержки из резолюций, чем на заголовки, с обилием всяких "должны", "поддержим", "выполним", "создадим". Да, в газете сказывалась та же прихмуренность, что и на улице...

Поблескивала лакированная коробочка телефона, за нею в трех шагах проплыла Ольга, запрокинув счастливое, терзающее лицо.

В коридоре гулко стучали, устраивали сцену к завтрашнему торжественному вечеру. Близость праздника чувствовалась и в обилии итоговых и юбилейных статей, присланных на правку из секретариата (а сколько еще их было выправлено вчера и позавчера - хватит на неделю!), и во внезапном раскачивании толстого каната за окном: сегодня на фронтон "Производственной газеты" будут поднимать огромное, усаженное цветными лампочками "ХИ".

Любопытно, кого Зыбин пошлет давать отчет о параде? Неужели на этот раз, из личной неприязни к Калабуху, нарочно назначит кого-нибудь из другого отдела? Кого же? Пашку Горюнова, только потому, что он комсомолец, или Мильмана, или Тимкина, которые обязательно нахалтурят так: "Серенькое, но бодрое утро... Из конца в конец Красной площади четко застыли стройные квадратики воинских частей" - и так далее.

Он хотел было отбросить газету, но где-то среди петита почудилась тревожно-

знакомая фамилия. Да, да, на первой странице в телеграмме, из-за границы о съезде химиков упоминался среди прочих научных представителей СССР и Бохон. Несомненно, не могло быть другого химика с такой фамилией, кроме того самого Бохона, с которым разгуливали вместе когда-то по университетскому коридору, сиживали голова к голове в одной аудитории. Маленький старательный Бохончик, он довел свое дело до конца, - вероятно, доцентствует, смотрите - даже представляет за границей от СССР!

То была не зависть, скорее тщательно подавляемое далекое беспокойство. Ну, ничего... Соустин (это само собой, бессознательно в нем делалось) рванул из-за пояса гранату, конечно мысленную гранату, дернул запал, швырнул ее... На месте Бохона все дымилось теперь к черту, зияло черное пятно.

Это в мыслях... а на деле он просто взял телефонную трубку в горсточку, отвернулся с нею в угол, как с ребенком.

Где-то возник очень тоненький, почти девочкин голосок, он пропел:

- Да-а?

Может быть, кончить самотерзание, заговорить сейчас, выдохнуть себя всего?

Позади ненавистно хлопбынула дверь. Пашка Горюнов, что-то вроде репортера, ботал на весь отдел болотными сапогами, выворачивая на ходу из нутряного кармана всякую бумажную дрянь - книжонки, сломанные папироски.

- Понимаешь, Соустин, написал статейку-то!

Соустин замахал на него, ужасаясь. В телефоне спросили нетерпеливо:

- Кто это дышит в трубку?

Зацепенел, будто над пропастью. В пропасти бессердечно пиликала по радио заблудшая скрипчонка. А тут еще назойливо выжидали Пашкины болотные сапоги, ватное его пальто с какими-то идиотскими большими пуговицами, Пашкины, прямо в рот глядящие, верящие глаза...

Легкий стук - трубку положили.

День глядел через окно, морозовато-желтый, дымный. Из этих городских дымов пришел и Пашка, год назад шлифовавший циркули на "Авиаприборе"; у него своя жизнь; сейчас вот бьется над трудной газетной мудростью, мечтает о литфаке. В редакции пока болтается неприкаянно как-то.

Надо было пересилить себя.

- Ну, как дела, Паша?

- Да вот, понимаешь, статейка эта насчет картин... - Пашка извлек, наконец, из карманной рухляди своей несколько листочков, иписанных чернильным карандашом. - Ты, друг, почитай, главное - насчет образов выскажись. Я, понимаешь, для первого раза образов в нее насобачил - жуткое дело!

Соустин потрогал листочки, мельком проглотил глазами две-три фразы. Этого уже было достаточно, чтобы понять все...

- Ты, Паша, отдай на машинку, а то трудно разобрать. Потом прочитаю и Калабуху доложу.

Кое-что подсказывало ему не ввязываться особенно в Пашкино дело. Речь шла об очередной выставке АСХ (Ассоциации советских художников), на примере каковой "Производственная газета" (вообще уделявшая искусству четверостепенное место) решила, по инициативе Зыбина, отметить и поощрить несомненный поворот художников в сторону чисто производственной тематики.

Статейку об этом Зыбин неожиданно поручил Пашке, до сих пор прозябавшему разборщиком рукописей в секретариате. Внимательность к выдвиненцу была проявлена новым секретарем резко, почти ожесточенно, как будто кому-то на зло... Статейка предполагалась для оживления отдела товарища Калабуха. В том-то и была суть, что Калабух, обычно разъярявшийся от одной видимости покушения на его полосу, на сей раз загадочно смолчал, и в молчании этом Соустин не мог не чувствовать некоего дальновидного злорадства.

- Ты, друг, хорошенько и насчет разных этих... просмотри! Я больше ведь на чутье брал. Зыбин так и сказал: "Бери на чутье!" Ну, я на завод насчет праздничной хроники пошел.

Пашка, получавший теперь поручение за поручением, самоуслажденно предавался деловой горячке. Пашку уже обуревали дерзостные мечты - двинуть, например, от газеты на строительство... Бедняга и не чуял, что попал между двумя жерновами... Соустин проводил слухом варварское громыхание его бахил, тоже, казалось, преисполненное самых доверчивых и гордых надежд, и ему вчуже стало жаль парня. Пора было браться за работу. Толстая стопка рукописей, главным образом праздничных и итоговых отчетов по разным промышленным предприятиям, сплошного, без абзацев, буквенного текста, разбитого притом на параграфы: 1, 2, 3... То были дебри, из которых - Соустин знал по опыту предстояло выйти только к вечеру, уже при желтых, похоронивших день лампочках, с натруженным, полочумелым мозгом. Первая статья, выдернутая наугад, содержала в себе что-то итоговое и перспективное о деревне - совсем не по специальности отдела! В предпраздничные дни подсовывалось для правки все подряд... Ну, деревню-то Соустин знал, она с детства вросла в него ветляной пыльной улицей, дедушкиной избой. Сколько, лет одиннадцать-двенадцать не бывал он в Мшанске? Брови его сдвинулись, надо было работать. Довольно о Мшанске... "Посевная площадь колхозов увеличивается с 4,3 млн. га до 15 млн. га". Сестра о том же писала, и, как всегда, жалобно было ее писание, что в Мшанске все поновому и тоже тянут мужиков в колхоз. Пора бы денег ей послать... "Приведенные цифры показывают, что наша отсталая деревня уже вошла в эпоху величайшей социально-технической революции". Он и сам знал: было чушью все то, что он берег в себе: обрыдлые крыши, ласточки, колокольни, теплая пыль, где бегало когда-то крошечное его тельце. Мшанск на самом деле подымался где-то другой, не нуждающийся в Соустине...

За дверью по коридору хлынули скопом смех, голоса, топоты. Настал час полуденного перерыва; служащие, приходившие в редакцию к девяти часам, спешили впереводку к буфету за завтраком. Технические секретари брали холодные котлетки с черным хлебом и простоквашу; курьеры - селедку со свекольным гарниром и чай; машинистки ели котлетки, простоквашу, селедку и, как женщины, зарабатывающие на свои прихоти самостоятельно, помимо мужей, позволяли себе с утра полакомиться пирожным. Люба Зайцева принесла Соустину в отдел домашний завтрак, довольно объемистый, завернутый во вчерашнюю газету, - от жены (с женой, вследствие неопределенных квартирных обстоятельств, они жили пока раздельно). Эту Любу, сестру жены, Соустин устроил машинисткой в "Производственной газете". Люба спросила, придет ли он погостить на праздники.

- Не знаю. У меня, вероятно, будет отчет о праздничной Москве и о параде,

придется везде ходить, потом работать.

- Значит, не придешь, - сказала Люба. - А Катя пельмени хотела для тебя сделать.

Она привыкла, отдав завтрак, полуприлечь на несколько минут около него на стол, думая о чем-то, положив под локоть сумочку. Совсем рядом виделись ее брови, разлетающиеся углом; глаза, потускневшие от оконного света, в который они засмотрелись безвольно; иногда за неосторожно открывшейся блузкой маленькая вялая грудь. Ну что ж, Люба была своя, Соустин любил нянчить ее Дюньку, как родного! Он погладил ей руку, но Люба вдруг мучительно расплылась.

- Что с тобой? - подивился он

Люба вильнула своей пышной юбкой, - сама она была тоненькая, но юбки раздувались пышно на ней, как кринолины, - и расхохоталась, так расхохоталась закатисто и неостановимо, почти до страдания, избегая глядеть Соустину в глаза, что ей пришлось выбежать. Соустин не удивился: несмотря на семь лет родства, Люба всегда проходила мимо него каким-то диковатым ветром.

Подступали самые горячие, крутые часы работы. Чаше хлопают двери отделов и поспешнее пересекающиеся шаги в коридоре. Приходят заведующие отделами: грохнув застегнутый на ремни чемоданистый портфель на край стола, тотчас смотрят на руку с часами, ибо большинство из них начальствует еще в наркоматах или ведет партийную работу высокой трудности.

Обычай такого совместительства остался от недавнего прошлого, когда "Производственная газета" выходила не более чем в сорока тысячах экземпляров. Но годы запахла по-другому - цементом, известью, железом; горизонты зазубрились силуэтами строительных вышек. Сквозь все закоулки жизни разветвлялась огромина пятилетнего плана, концы его уходили в мечту. Участок, который занимала хиреющая газета, оказался одним из самых боевых. Перед ней открывалась непочатая жила вопросов, полных злободневности и пафоса, ее голос начинал достигать до всех новостроек. За одну трехмесячную кампанию тираж "Производственной газеты" вырос до семидесяти пяти тысяч. Понадобилось увеличить число сотрудников, прибавился новый отдел - кадров. Прежний промышленный отдел, ведомый Калабухом, предполагалось, ввиду обилия и несродности тем, разбить на два: социалистического строительства и эксплуатируемых предприятий.

В два пришел Калабух. Его всегда задерживали или райкомовские дела, или что-нибудь вроде семинара в Институте красной профессуры. Да сегодня он и имел право опоздать: ночью выпадала его очередь нести обязанности дежурного редактора в типографии (как заведующий важнейшим отделом, он выпускал ответственный номер газеты). Он сбросил шинель по-походному (после недавних маневров Калабух носил только военное), сбросил ее прямо на стул; у него в портфеле было что-то чрезвычайно спешное.

- Вот тут моя подпередовая статья на завтра. Будьте-ка добры, прочитайте ее до машинки. Может быть, если нужно, э-э... кое-где слегка подчистите слог.

Соустин с готовностью принял рукопись. Доверие Калабуха к его стилистической опытности, даже признание некоторого превосходства Соустина в этом отношении льстили... Подпередовая для праздничного номера - она будет пущена под решеткой из строительных вышек и заводских труб, прорезающих рас-